

# Галина Щербакова

## Год Алёны

Старухи выскакивали на счете «семнадцать». Прикрывшись шторой, Нина считала: три... десять, шестнадцать... Потом хлопала дверь подъезда, и они появлялись.

Нина загадывала: если первой выбежит свекровь – день будет спокойный. Если та, что с третьего этажа, – лопатистая, мужеподобная бабища, – день будет плохой.

Подглядывание в окно стало ворожбой, игрой в чет-нечет.

Сегодня первой из подъезда выскочила коротконогая, крепко сбитая старуха – ее свекровь. Она вдохновенно работала коленками, локтями, мощно выдыхала углекислый газ – зимой это бывало особенно зрелищно.

Сейчас же май. Мощностъ легких у бегущих старух можно только вообразить. Но мощностъ есть – это безусловно. И кураж тоже. В этом году они вырядились в новые ярко-синие с белой окантовкой олимпийские костюмы, которые недавно появились в продаже. Никого из них не остановило то, что «Мишка» слегка утяжелил стоимостъ костюма. Старухи поднапряглись и выдержали наценку. Зато как они бежали в этих костюмах в первый день!

Просто синие стрелы, а не бабки.

На них всегда оглядываются зачумленные, торопящиеся по делам люди. Из окна не видно, что в этот момент в глазах у этих людей. Но ничего хорошего Нина не предполагает. Над старухами либо смеются, либо жалеют, либо их презирают. Потому что сама она, Нина, то смеется, то жалеет, то презирает.

Свекровь же взгляды, брошенные на нее на улице, читает иначе. Она уверена, ей удивляются и ей завидуют. Свекровь все в своей жизни воспринимает со знаком плюс, а это и есть основа счастья. Нина же так не умеет. Может, разнополярность и держит их – чужих, по сути, людей – вместе?

Нина любит оставаться по утрам одна. Это совсем коротенькое одиночество, но оно как смазочное масло всему дальнейшему дню.

Раньше она этого не знала. Утро было заполнено всегда куда-то опаздывающей, все теряющей Дашкой. «Ой, где мои ключи?», «Ой, где моя шапка?», «Ой, не стой на дороге!», «Ой, купи мне лосьон, у меня кончился!», «Ой, если будут звонить...»

Дашка убегала, но еще долго квартира была наполнена ее дыханием, ее энергией, и, собирая разбросанные повсюду вещи, Нина и без дочери все равно была будто и не одна. Она даже ходила

как-то боком, по стеночке, вроде боясь, что Дашка возникнет, материализуется и закричит на нее за что-нибудь.

Теперь уже полгода, как дочь замужем. И появилось это одиночество, замечательное одиночество, благословенное одиночество, когда можно спросить себя, умную, и получить ответ, а можно и пожурить себя, дурочку.

Нина медленно пьет чай, читает газеты. Вернее, не так. Она их не читает, а просто перелистнет с конца в начало и отложит. Ну, иногда пробежит глазами рецензию на что-нибудь ей интересное, поразится полному несовпадению своего впечатления с печатным текстом и даже успокоится: в таком постоянном несоответствии есть уже некоторая прочность.

А прочность – это все-таки хорошо. Это надежно. Значит, и войны не будет. Правда, после замужества дочери снова зашевелился страх. Страх, что война все-таки может быть и теперь уже принесет потери ей. Им. Когда они жили вместе (плюс бегающая по утрам свекровь), Нина ловила себя на мысли, что давно не боится войны. Что, случись она, погибнут все сразу, а значит, не будет никому из них горя. А теперь дочь живет отдельно, влюблена до умопомрачения в своего мужа, и не дай Бог... Сохрани Бог...

Не думать об этом, не думать!

Скоро лето, надо себя куда-то приткнуть.

Нина хочет в Прибалтику, а точнее – в старый Вильнюс. Давным-давно, еще студенткой, ездила туда. Была тогда поражена его древностью, его двориками, его каким-то своим духом... Она тогда не сумела в этом разобраться... Просто бежала куда-то и вдруг затормозила в средневековом переходе и услышала – тишину. Тишину в шуме. Было ясное ощущение материальности тишины, ее наполненности. Эту тишину можно было брать в руки, так спрессована она была. Из нее, наверное, можно было добывать и философский камень. Так подумалось тогда... Или теперь? Может, раньше было просто ощущение, а подобное осмысление пришло потом? Но осмысление все-таки пользовалось формами обычными, заурядными, а то ощущение было вне заурядности. Вот почему хотелось проверить: существует ли такая тишина на самом деле или она плод фантазии?

Свекровь уже давно скрылась за поворотом. Сейчас они с лопатистой подругой прибегут на стадион, где их ожидает группа здоровья. Старухи поприветствуют друг друга в стиле карате и побегут дальше. Вечером они соберутся попить травяного чая, или пойдут в театр «на старые вещи», где есть декорации и костюмы, или распишут пулечку.

Розовощекие, бегущие в будущее старухи.

Нина преподает в строительном техникуме русский язык и литературу. Бессмысленные для техникума предметы. Не она так считает – они. Ученики. Каждый год ей все труднее и труднее объяснять им про совесть Толстого и про разумный эгоизм Чернышевского. Она знает: ее студенты – славные ребята, просто они никак не могут приспособить все даваемые ею знания к своему делу, и здоровый прагматизм отвергает их.

– Просто слушайте и запоминайте, – говорит она им. – Это за плечами не носить. А в отношениях с самим собой и с людьми обязательно пригодится.

Нет, отвечают они. Не пригодится. Не может человек, который никогда не работал, помочь в чем-то современному прорабу.

– Кто не работал? – не поняла Нина.

– Толстой. Кто же еще?

– Хорошо, – сказала она. – Возьмите ручки. Откройте «Войну и мир». Переписывайте.

Они сдались на тридцатой минуте. Тяжело. Да еще по-французски сколько! С лопатой, может, и легче...

Нина стыдилась своего эксперимента. В конце концов, она им только одно доказала: граф, барин мог устать физически. Может, даже не меньше, чем прораб...

– А какая у него ответственность? Кто у него

план спрашивал?

В общем, уроки литературы – уроки веселой необязательной болтовни.

Повела всех на фильм «Премия».

– Ну? – спросила. – Как вам это? Это вам нужно или нет?

Мнения разделились. Нет, сказали одни. Потому что все это брехня. Никто еще никогда от денег не отказывался, если они не ворованные, а вполне государственные. Да, сказали другие. Надо как-то начинать наводить порядок.

В техникуме Нину ценили за неординарность уроков. Жалели за неудавшуюся личную жизнь, сторонились ее молчаливости, некомпанейности. Коллектив у них дружный, они за грибами вместе ходят, дни рождения широко отмечают. Она же – часто в стороне. Все что-то думает, а что думать? Вперед надо, вперед!

Таковыми же словами воспитывала Нину и свекровь. Слово «вперед» выходило у нее особенно выразительным, сине-олимпийским и с короткими ногами.

Однажды свекровь сказала:

– Ты могла бы и еще раз попробовать устроить свою жизнь. Какие у тебя годы? Вперед надо, вперед!

Нина замерла, будто зависла над этим словом, вспоминая вкус и цвет самого понятия – вперед.

Что оно значит?

Что значит вперед и назад в человеческой жизни? Если завтра – это вперед, то какой смысл в этом вперед, если лучшее было вчера. И человек хочет назад, потому что, в конце концов, он знает, что ему лучше. Это глупости, будто человек сам про себя ничего не знает. Человек знает про себя все. Просто он может что-то забыть, в чем-то еще не разобраться. Тогда тем более ему надо назад, чтобы вспомнить и понять... Вспомнить – всегда назад. Человек невероятное количество времени вспоминает, значительно больше, чем мечтает о будущем. Так почему тогда назад хуже, чем вперед?

Но Нина не говорит это свекрови. Никому не говорит. Думает же об этом бесконечно. Особенно с тех пор, как Дашка вышла замуж. Освободившееся от забот о дочери время надо было чем-то заполнить. Тем более что бесполезно гнать мысли. Их надо перебрать на вкус, на цвет и на ощупь... В этом «надо» было что-то почти мистическое. И в то же время бытовое, как в ремонте квартиры. Не начнешь же побелку, пока все не вынесешь?

Собираясь на работу, трясясь в транспорте, стоя в очереди, в любом неожиданном месте, в любое время Нина потихоньку «выносила мебель».

«Меня – две, – думала Нина. – Одна живет во времени вперед, другая – во времени назад.

Встретимся ли мы?»

Распечатанное письмо свекровь вручила ей вечером.

– Какая беспардонность! – сказала она. – Какое нахальство! В конце концов, при чем тут мы?

О беспардонности и нахальстве говорил человек, распечатавший чужое письмо. Последнее время Нина стала обращать внимание на свойство людей требовать порядочности от других, не обременяя самих себя этими качествами. Было ли это всегда или это исключительно современное достижение? Себя чтит и пестует всяк. Всяк о себе только в превосходной степени. Все же другие – плохи. Даже совершая гнусь, люди научились находить для этого исключительно основательные причины и оправдания для себя. В троллейбусе прелестная женщина прекрасным голосом учила другую прелестную женщину:

– Лапочка! Пиши подметное письмо! Все уже давно их пишут. Это стиль жизни.

Нина ничего не сказала свекрови, она молча взяла конверт. Письмо было не подметным. Оно было от Алены, дочери ее умершей подруги. Алена старше Дашки на три года, значит, ей двадцать два. Нина видела ее в последний раз на похоронах матери два года назад. Алена тогда только что вышла замуж и, рыдая над гробом, картинно висла



на шею у молодого мужа. Все на нее пялились, потому что непристойно здоровыми были эти объятия на виду у смерти.

И вообще замужество Алены вызывало осуждение.

У матери была последняя стадия рака. Но даже последняя стадия рака – это еще жизнь, а значит, и фата, и пузыри на машине, и прочая идиотская символика возможны, разрешены... Нина представила, как они, сильные и веселые, явились к матери и та, нафаршированная обезболивающими препаратами, благословила их, уже наполовину оттуда.

Люди осуждали Алену за торопливость, говорили, что раньше так не поступали...

– Так что же, ей надо было ждать смерти матери? – спрашивала Нина. – Вы понимаете, что это такое – ждать смерти?

– Не ждать, а потерпеть, – ответила ей одна женщина. – А они теперь не терпят...

«Люди, меняя слово, думают, что изменяют сущность, – думала Нина. – Ждать, терпеть... Разве это не одно и то же в этой ситуации?» Но в том-то и дело, что внутренне она приняла позицию той женщины. Надо было потерпеть...

А теперь Алена писала, что с мужем разошлась – он оказался подлецом. Что ей «остобрыдло» в городе, где все знают «друг друга в

морду». Что она решила приехать в Москву на любую стройку, скрыв свое высшее педагогическое образование. Знакомые «сделали ей липу», написав справку, что она работала где-то там секретаршей. Но она не хочет ехать очертя голову, «через официальные каналы». Она хочет «приехать к вам, тетя Ниночка» и «потолкаться в московской толпе». «У вас, говорят, много кого требуется»... Устроится и, конечно, уйдет, «нельзя ближнего теснить в берлоге».

Нина почувствовала, что страстно, просто до боли, хочет увидеть Алену. Она хочет узнать, понять, как выходят они, нынешние, из разводов. Ведь если вспомнить, как было у них с Евгением... Господи, спаси! А эта крутобедрая, широкоскулая, калмыкообразная Алена будто нарочно повторяет ее шаги. Бросает профессию, разводится с мужем. Ее, Нину, все это обдирало до крови, а эту? Пусть девчонка едет. Пусть поищет счастья в Москве. Это нормальный для русского человека путь поисков.

Она тоже в свое время рвалась в Москву. Боже, когда это было?

Нине часто снится один и тот же навязчивый сон. Ей надо вытащить ведро воды из колодца, а у нее не получается. В жизни в детстве Нина вполне справлялась с этой нехитрой задачей. Зачерпывала понемногу, понемногу приносила. Во сне же, во

сне, который навязчиво стал сниться ей после того, как она уехала от колодца, было не так. Только протянет руку к ведру, только на секунду оставит ворот, как цепь в тот же миг, хохоча, издеваясь, глумясь, начинает разматываться с невероятной скоростью... Бьется о стенки ведро, расплескивая воду, шуму-то, звону сколько. Бухается где-то внизу... И скрипит, скрипит насмешливая цепь...

Всегда после этого сна ощущение тоски и неудачи.

Сон стал сниться, когда она приехала в Москву. У нее был трубочкой свернутый аттестат зрелости, платье из двух половинок. Перед – клетка беж с коричневым, а спинка – сплошь коричневая, изнанка старенького мамино пальто. Ехала в поезде на боковой полке, было жарко и пахло пожарищами. Семь лет прошло – все равно пахло войной. И люди в поезде вполне сходили за мешочников, а может, и были ими. Нина не выпускала из рук аттестат-трубочку и все время трогала зашитые в лифчик деньги. На станцию Никитовка ее провожал Славик. Он уже учился в Харькове, приехал на каникулы и вызвался ее проводить.

Пять часов они ждали поезда на раскаленной платформе, и мамины котлеты стали плавиться от жары, испуская такой аромат, что подошла одна тетка и спросила:

– Не пойму, что вы такое кладете в котлеты? У меня тоже вкусные, но до ваших, судя по запаху, далеко.

– Я не знаю, – виновато ответила Нина. – Это мама...

– Так секреты ж надо узнавать! – закричала тетка. – Ваша мама помрет – дай Бог ей здоровья, – а вы останетесь ни с чем. Скажите ей, молодой человек, – это она Славику, – рецепт – это все! Ничего за него не жалко. Дайте тогда попробовать.

Развернули котлеты, дали тетке, сами стали есть, запивая теплой водой.

Тетка жевала внимательно, тут же комментируя:

– Чеснок толченый, а лук пережаренный... А у меня сырой. Картошка на мелкой терке тертая. Мяса два. Поросячье и коровье.

– Только поросячье, – тихо сказала Нина.

– Девочка! – возмутилась тетка. – Разве ж я не чую? Кусочек коровьего точно брошен...

Нина молчала. Не было коровьего мяса, не могло быть. Держали поросенка, козу, уток. После голода сорок седьмого мама сказала: «Буду держать скотину, сколько смогу... Мало ли что?»

Тетка вытерла руки о цветы, которые росли на железнодорожной клумбе, и ушла к своим оклункам. Так у них назывались мешки.

И вот тут, на таком прозаически-котлетном

фоне, Нине первый раз в жизни объяснились в любви. Что побудило этого лопухого, молчаливого Славика – бог весть. Только он, багровея, сказал в тот момент, когда Нина сворачивала промасленную газету, чтоб выбросить:

– Если у тебя что не получится в Москве, ты давай в Харьков. Я буду ждать... – Он набрал воздуха, выдохнул его почти весь и уже на остатке не то просипел, не то просвистел, а может, даже – как это? – прочревовещал: – Я всю жизнь буду тебя ждать. Всю жизнь и каждый день.

В общем, если оробевшей перед будущим Нине нужны были шенкеля в бок, она их получила. Все что угодно! Только не Харьков и не Славик. Фу!

Утром Нина написала:

«Приезжай, девочка. Буду тебе рада».

Когда написала слово «рада», допустила ошибку. Написала «раба». Вспомнила, как боролась с собой в молодости. Она называла эту борьбу чеховским «выдавливанием из себя по капле раба». «Капли брякали о цинковое дно, и такой стоял шум», – с грустью подумала Нина.

– На носу лето, – объяснила Нина свекрови. –

Вы все равно будете за городом, я, может, тоже куда-нибудь поеду. Пусть девчонка поживет.

– Учти, в свою комнату не пущу, – категорически отрезала свекровь.

– Я пущу, – ответила Нина.

Что-то нехорошее в ней шевельнулось. Жалость к себе самой? Или гнев против свекрови, которая жила ведь с Дашкой, до сих пор у нее в комнате диванчик стоит. Но тут же Нина прикрикнула на себя. Не сметь! Не сметь давать расти в себе ни жалости, ни гневу. Им только дай волю, только дай...

Опустив открытку в почтовый ящик, Нина подумала: Алена вызвала из небытия силы, о которых она, Нина, забыла... Это же надо! Ра-ба... Интересно, сейчас кто-нибудь выдавливают его по капле?

Нине хотелось притащить за уши ту девчонку, какой была сама... «Сколько? Тридцать с хвостиком лет тому...» Она хотела поставить ее рядом и посмотреть ей в глаза... Вот интересно, могла бы она ее чему-то научить, дать ей дружеский совет из сегодня во вчера? Дочери она не может...

На уроке у Нины был «Вишневый сад». Она не любила эту тему, потому что всегда почему-то старалась защитить пьесу, невольно провоцируя

этим будущих прорабов на нападение. Они, как голодные волки, вгрызались в ломких чеховских женщин и бездеятельных мужчин, рыдающих от стука топора. Ну полное неприятие! В чем проблема?! Если надо, надо рубить! Люди, плачущие от таких пустяков, исторически бесперспективны. Что и доказала революция.

Никогда еще ни один столь правильный вывод не показался ей таким угрожающим. Было странное ощущение: для рождения ребенка убивают мать. Она даже сказала им об этом. Они ей ответили, что это все слова. «Мать убивают!..» Болтовня по-чеховски...

Никто никого не убивает. Один из учеников засмеялся: «Мать сама умерла при родах. Сердце не выдержало».

Но сегодня, опустив открытку Алене и вспомнив, как она сама выдавливала из себя по капле раба, Нина как-то автоматически, без провокаций, провела спокойно традиционный урок. Разложила все по полочкам, и все разошлись, довольные друг другом.

На перемене ей представили учителя, который пришел замещать ушедшую в декрет физичку. «Не могла дотерпеть до конца года», – возмущалась директор. Нина рассеянно пожалала новенькому руку, не обратив внимания на оживившихся в учительской женщин. В их техникуме нет

проблемы мужчин, сказывается производственная специфика, но женщины все равно радуются, что пришел он, а не она... Общая беда образования уже выработала стереотип восприятия.

Но сегодня такой странный день: все внешние впечатления проходят у Нины по касательной.

«Я хочу что-то понять», – сказала она себе.

Что?

После работы она столкнулась с новым учителем на троллейбусной остановке.

– И как мы в сравнении? – спросила она его.

– Не понял, – сказал он.

– Ну ведь вы определенно нас сегодня с кем-то сравнивали... Откуда вы пришли?

– А! – засмеялся он. – Я из вечерней школы, но ни с кем вас не сравнивал. Ей-богу! А вы всегда сравниваете?

– Я? – смутилась Нина. – Но ведь это происходит непроизвольно. Разве нет?

Он насмешливо посмотрел на нее и показал на троллейбус.

– Мой, – сказал он. – Я подумаю о непроизвольности сравнений.

Нина смотрела вслед троллейбусу. Остро захотелось увидеть Дашку, услышать лай Капрала. Что сейчас делает ее дочь? Жизнь Дашки в другом доме была ей совершенно непонятна.

Сватья говорила, что Дашенька хорошо



готовит. Каким таким непостижимым образом она этому научилась? Сватья говорит: невестка практична и домовита. Конечно, тут надо делать скидку, что сама сватья – геолог, никогда домом не занималась, она и сейчас где-то в поиске, одинокая женщино-мужчина.

– Дашенька – очень мягкая, – говорит она.

– Разве если сравнивать ее с мужским отрядом в тайге... – ядовито сказала Нина.

– Что вы имеете против мужского отряда? – удивилась сватья. – Там разные люди.

– Ничего, – растерялась Нина. Очень она тогда расстроилась из-за своей бестактности.

Но видимо, Дашка на самом деле изменилась. Или мы такие, какими нас хочет видеть чужой глаз? Но мягкости у нее раньше не было. Или просто Нине она не досталась?

Нина села в троллейбус, идущий к дочери. Езда предстояла долгая. Чего Нина не умела делать, так это выбирать оптимальные по времени маршруты. Она не любила метро. Это чувство возникло у нее не так уж давно. Было восторженное восхищение метро в молодости, но, чем гуще становилась толпа под землей, а она становилась гуще и гуще, чем громче кричали в нем в мегафоны, чем чаще ставились сдерживающие блестящие оградки, тем противней было Нине попадать в подземку. Было что-то страшное в

течении ее толпы и ее разноцветье, в ее молчании, в ее покорно направленном движении.

Автобусная очередь, расхристанная и неуправляемая, идущая не по правилам, а поперек их, была Нине понятней, что ли?

Конечно, противно, когда тебя жмут со всех сторон. Но это все равно лучше молчаливого движения в затылок друг другу. Четко – вверх или четко – вниз.

На этот раз в беспорядочном броуновском движении ей повезло: она села. Даже у окошка. Рядом грохнулся мужик, пришлось подобраться, сконцентрироваться...

Когда троллейбус тронулся, Нина увидела Олега. Судя по тому, как старательно он смотрел в окно, он тоже ее заметил.

«Сейчас приеду и скажу: встретила Олега. Что она мне на это ответит?»

– Такой фраер, – ответила Дашка. – Смотреть противно.

Капрал лизал Нине руки.

– Ты его встречаешь? – спросила Нина.

– Мы одной спекулянткой пользуемся, – засмеялась Дашка. – Так что бывает... Нос к носу в подъезде... Тебя кормить или...

– Корми, – сказала Нина.

Дашка захлопотала у плиты. Откуда у нее эти ловкие, экономные жесты? Плита выдраена до

нечеловеческого блеска. Кастрюли повернуты доньшками, на которых – ни пятнышка. «Дочь моя – моя тайна», – подумала Нина.

Доньшки ее доконали.

А было так...

Олег, который отворачивался от Нины в троллейбусе, бросил Дашку уже после того, как они подали заявление в загс. Она запомнила его по кроссовкам сорок третьего размера, которые он оставлял поперек прихожей. От них кисло пахло, что раздражало и Нину, и Капрала. Свое раздражение Нина выказывала тем, что придвигала кроссовки ближе к входной двери, а однажды не выдержала и сказала об этом Дашке, где, мол, твоя всегдашняя брезгливость и чистоплюйство, от которых житья дома нет, твое постоянное «чем пахнет, чем пахнет?»? Та молча смерила Нину взглядом, который выражал что-то вроде: ты всегда мне говоришь гадости, но я выше того, чтоб ответить тебе, чем пахнете вы все, ваше поколение. В общем, ей его кроссовки ничем не пахли. Еще бы! Олег ослепил Дашку любовью. Нина видела, как они возвращались домой в ливень. Олег держал над Дашкиной головой распластанный полиэтиленовый пакет, видимо, считая, что голова ее дочери самое драгоценное, что стоит охранять от дождя. Он не знал стоимости только вчера

купленных английских лодочек. Дашка ступала ими в лужи и потоки, демонстрируя полное пренебрежение к Нининому рублю.

А однажды он не пришел больше никогда.

Сгинул, канул... Провалился в тартарары...

Нина никогда ни у кого не видела такого выразительного отчаяния, какое было у Дашки.

Она почти не ела, не пила, не спала. Сидела неумытая, непричесанная, какая-то затвердевшая, смотрела в одну точку, и даже Капрал не решался к ней подойти.

Один раз ее лизнул и, потрясенный, отошел. Горькой ли, соленой показалась ему девочка, кто знает? Только вот было так – лизнул и отошел потрясенный.

Что Нина должна была делать? Она ждала, ждала, а потом сказала:

– Ты что, ненормальная? Подумаешь, мальчик ушел! Тоже мне сокровище. Ну обидно, ну досадно, ну самолюбие задето. Но не до такой же степени, чтоб не умываться?

Нина говорила спокойно и уверенно, слова у нее, как ей казалось, были разумные, и, вернись та минута сейчас, когда она уже знает, что дочь ей ответила, она все равно лучших бы слов не придумала.

Неумытая, голодная, невкусная даже для преданной собаки, девчонка повернула к матери

свое осунувшееся в горе лицо и сказала абсолютно спокойно:

– Эй ты! Что ты понимаешь во всем этом? Откуда тебе что знать, если ты каменная? Меня тошнит от твоего спокойствия. Меня вообще тошнит в этом доме ото всего. Единственный у нас в семье человек – Капрал, да и то собака. Но и он стал похож на тебя, хоть бы когда-нибудь нагадил, где ему хочется. Хоть бы покусал кого-нибудь. Собака же!

Она не орала, не блажила, что было бы естественно, а говорила все это противным тусклым голосом, что заставляло предполагать не сиюминутность мыслей, а их выношенность, что ли... Будто давно ей все ясно и говорить об этом не хочется, но мать сама напросилась.

– Все вы такие, – продолжала Дашка. – Дрессированные собаки... Не мешай мне горевать, как я хочу и умею... – закончила она так, как говорила: не мешай мне смотреть телевизор.

Капрал сочувственно лизнул Нине руку. Она сняла с крючка поводок. Собака ошалело подпрыгнула: это было не ее время. И смотрела потрясенно, не веря своему счастью, а Нина надевала плащ, туфли, она хотела побыть наедине с собой, она должна сама решить, что сделать с этими Дашкиными словами: то ли понять их, то ли выбросить в мусоропровод, то ли высадить в

какой-нибудь грунт и подождать, что из них вырастет?

Три часа Нина гуляла с собакой, потому что была ошеломлена, сбита с ног обвинением. Ей горько было быть в глазах дочери каменной. Вообще с понятием, какой быть, было непросто. Ну например, разве плохо быть сильной? Но сильные женщины, которым Нина иногда завидовала и которым даже пыталась подражать, так часто оказывались стервами, так легко, шутя-играючи, могли обидеть и предать, что Нина говорила себе: «Нет, нет! Быть „тряпкой“ порядочней». С другой же стороны... Эти ноющие, скулящие «тряпки». Эта их рабская покорность. Она ведь рабство – по капле, по капле, по учебнику... И вот такая неуверенная в себе женщина, стыдящаяся как напористой силы, так и отступающей слабости, в глазах родной дочери была каменной.

«Господи, вразуми! – думала Нина. – Хорошо это или плохо, что для дочери я несгибаемая, каменная?»

Конец той прогулки с Капралом оказался для Нины непредсказуемым.

Собака замерзла. Потащила домой. Нина настроилась на бой с Дашкой.

Слова, которые она собиралась ей высказать, распирали горло, просто можно было задохнуться, так они теснились... а в коридоре стояли кроссовки

сорок третьего размера. Капрал сел на задние лапы и тихонечко заскулил. Нина отодвинула кроссовки к двери и пошла к Дашке. В конце концов!

Совсем другой мальчик тихо наигрывал на гитаре, Дарья раскачивалась, как фарфоровый божок, в такт музыке! Она уже успела накрасить ресницы и нацепить шнурок от Нининого платья.

– Тебе чего, мам? – спросила она. – Ты хотела что-то сказать?

– Ничего, – ответила она тогда.

За второго мальчика Дашка вышла замуж, причем почему-то они исхитрились сделать это раньше, чем было намечено с Олегом.

Таким образом Дашка ему отомстила...

Дашка наливала Нине суп и ставила его по всем правилам на сервировочную тарелку, нож и вилка тоже лежали по правилам, и Капрал сидел чинно, как отшельник, и музыка лилась тихая, мелодичная.

– Неужели Чайковский? – спросила Нина.

– А что? – удивилась Дашка. – Мы с Митей очень его любим.

Можно было спросить, с каких пор, но Нина аккуратно ела суп, не задавая ненужных вопросов и не напоминая Дашке ее собственные высказывания.

– Чайковский – музыкальный бальзам. Зализывание и рубцевание! Колыбельная для

пенсионеров. А музыка должна рвать душу...

– Приезжает Алена, – сказала Нина. – Она разозлилась и хочет попробовать начать все сначала в Москве.

– Не вздумай ее прописать, – ответила Дашка. – С тебя станется. Недуром прет периферия...

– Что? – не поняла Нина. – Что за нелепая фраза?

– Еще какая лепая! – засмеялась Дашка. – Ты посмотри вокруг. Дышать от лимиты нечем!

– Между прочим, – сказала Нина, – ты тоже не королевских кровей.

– Папа – коренной москвич.

– А мама?

– С тобой мне не повезло, – хмыкнула Дашка. – В твою защиту могу сказать: ты вполне ассимилировалась и цивилизовалась.

– От чего ты ведешь счет? – возмутилась Нина. – От папы?

– От себя, – ответила Дашка. – Все считают от себя. Только не признаются в этом. Это нормальный здоровый счет...

– Значит, всегда я – первый?

– Ну не второй же?

– А как считаетесь с Митей?

– На первый-второй... – засмеялась Дашка. – Мы единое-неделимое. Ты клево выглядишь, –



сменила тему Дашка. – Вполне.

– Слушай, как ты говоришь?

– Замечательно. Что тебе не нравится? И все же не вздумай прописать эту корову, – повторила еще раз дочь. – А то рассержусь.

– Почему корову? – тоскливо спросила Нина. – Ну что ты за человек?

Дашка навалилась на мать всем телом, затискалась, запричитала:

– Да ладно тебе! Это экспрессия... Очень помогает. Знаешь, как хорошо ругаться матом? Лучше аутотренинга. Выразишься – и легкий!

– Ох, дочь! Просто не знаю, что тебе сказать... У тебя на все ответы... А я, дура старая, еще даже не все вопросы задала... Ты живешь с ответами, а я вся в вопросах.

– Прекрасно, – засмеялась Дашка, – прекрасно, можем обмениваться. Mam! Выходи замуж. Отбей какого-нибудь плохо привязанного... Знаешь их сколько!

– Тьфу на тебя, – замахала руками Нина. И засобиралась уходить. Дашку можно принимать маленькими дозами. Она мастер разрывать неспешное течение Нининых мыслей. После Дашки их потом приходится связывать. Узлов получается!..

«Сейчас я войду в галантерею, – подумала Нина. – Уставлюсь на одеколоны, пуговицы, мыло,

буду гипнотизировать себя видом обнаженной помады... Хорошо бы меня потолкали, хорошо бы мне нахамили... А еще лучше, чтоб давали что-нибудь дефицитное, и я бы встала в очередь и сразу отупела... И все... Очереди – прекрасное средство не думать. Именно когда перестаешь думать, является какая-нибудь мысль... Это проверено...»

Какой-то немолодой мужчина стал приставать к Нине с вопросом, какие духи лучше.

– Это индивидуально, – сухо ответила она.

– Но вы, лично вы? Какие предпочитаете? – И норовит поймать глаза, и ни на шаг не отстает, и улыбается заискивающе. «Господи, – подумала Нина, – неужели плохо привязанный? Но мне этого не надо, не надо, не надо».

Пулей выскочила из магазина.

Вздыхнула, засмеялась и повторила: этого не надо.

Соседка оставила в кухне бюллетень по обмену жилой площади. «Совсем спятила», – подумала тетка Куня. У соседки, как и у нее, была восьмиметровка. Только Кунина комната смотрела во двор, на церковь, а соседкина – на реку. Всю жизнь преимущество было у Куни – теплее. Не так дует. Теперь, оказывается, в цене – пейзаж за окном. Так сказала соседка.

И старая дура (Кунино определение) стала играть в обмен. Куня знала – никуда она не поедет, но уже какие-то дядьки всех возрастов дергали в туалете цепочку и мерили шагами их общий коридор. Соседка же с самодовольным видом стояла возле окна на Москву-реку, и вид у нее был такой, будто это она ее пустила по городу, она перекинула через нее мост и теперь она же вправе взять за это цену подороже.

Куня листала объявления и осмыслить их не могла. Квартира в сто двадцать метров! Это какая же? А хочет человек еще больше. Справедливая Куня себя одергивала: а если у него семья большая? Но тут же качала головой: где они теперь, большие?

Зря она взяла этот бюллетень в руки, зря... Заболело то, что давно не болело. Заболела память... Как тогда Нина, племянница, просила ее, как просила!

Она помнит, как Нина рыдала, а потом – вспомнить страшно! – встала перед ней на колени.

Но Куня сказала: что хочешь проси, но не это – я никому кланяться не пойду.

Куня качала сейчас головой. Пошла бы – и дали. Все были для этого основания. Самая неудобная комната в их квартире долго стояла пустая, потому что примыкала к туалету, целый день слышно, как работает бачок, а из окна – серая стена с ржавыми потеками.

Но Куня сказала – нет. «Писать жалобные просьбы? Нет уж! Даже ради тебя, Нина, я не перешагну через гордость». И не перешагнула.

Куня снова возвращается в то время, видит все до мелочей. Пришла с работы, а на кровати лежит ее парадный шевиотовый костюм, жабо иголочкой приколото к подушке, на столе документы о гибели Петра и старая справка о том, что у Куни когда-то было ТБЦ. Нина смотрит на нее и говорит складно, убедительно: «Пропиши нас с Женей, я же беременная, попроси ту комнату. Ты же вдова погибшего, тебе не откажут...»

Что ее тогда задело, Куню? То, что без нее Нина в ящик полезла и все достала? Так это был общий ящик, не запирался ни от кого. То, что ее Петинной вдовой для выгоды посчитали, а она после замуж выходила, пусть и неофициально? То, что Нина указала ей путь не спросясь?

Куня сказала – нет. «Никого ни о чем я просить не буду».

И тогда та повалилась на колени.

Нина на коленях была противна Куне. Сколько лет прошло, а все равно она помнит то свое ощущение, ощущение отвращения и гордости за себя, что никогда, ни в каких случаях на колени ни перед кем не становилась. Да у нее просто ноги не согнулись бы!

Теперь Куня чувствует: что-то было не так.

Отвращение отвращением, а помочь Нине надо было. Это все не фанаберия, при которой ноги не гнутся. Куня вспомнила, как привезла она Нину в Москву с вокзала. В пятьдесят первом или втором? В то время еще билеты на перроне проверяли. У Нины было платье комбинированное, лицо растерянное, оглушенное. Куня думала: провалится она в университет, куда ей тягаться с московскими школьниками. Поступала дочь ее сослуживицы и завалилась. А такая бойкая девица. Но Нина после всех экзаменов приносила пятерки, и Кунины глаза становились все круглее и удивленнее.

– Не может быть, – говорила она, разглядывая экзаменационный лист чуть ли не на свет.

Нина была такой счастливой, что не могло ее коснуться Кунино недоверие и сомнение. Тем более что тетка в конце концов устроила банкет с вином, пирожными, а вечером они пошли с ней в Большой театр на «Лебединое озеро».

Куня встречала Нину вечерами, когда та задерживалась в университетской библиотеке. Стояла в длинном плаще под темной аркой. С палкой. Нашла палку на набережной, длинную, кривую, суковатую. На нее в таком виде подозрительно оглядывались. Однажды одна девчоночка, увидев ее, вскрикнула и побежала прочь.

Куня кинулась ее догонять. Бежала и кричала:

– Не бойся! Не трону! Я не бандит!

Потом Нина и Куня умирали со смеху, разыгрывая без конца эту сцену. Насмеявшись, обе легли спать. Куня на кровати. Нина на диване. Нину охраняли двенадцать флегматичных слонов с навсегда повисшими носами. Оттого что перед сном много смеялись, разыгрывался аппетит.

Куня доставала спрятанную между рамами колбасу – холодильник был тогда еще редкостью – и делала бутерброды.

Почему так громко поедаются ночью бутерброды?

Это тоже повод для смеха. Надо же, какое свинячье чавканье!

Они засыпали, когда в кухню отправлялся сосед по квартире. Значит, уже больше двенадцати. Сосед – никому не известный писатель Мыльников. «Пока», – загадочно говорила его жена. Писал он ночами, когда утихала коммуналка.

Только хихиканье, чавканье и тихие шаги по коридору, сопровождающие неспешное течение писательской мысли, нарушали покой ночной.

Куда все делось?

Куда, во-первых, делся писатель?

У него был мелкий, чтоб не сказать мелочный, почерк. Куня хорошо это помнит, потому что некоторые страницы попадали в уборную. Куня читала их. Это были ошметки какого-то

исторического романа из жизни древнерусских князей.

А потом Нина бухнулась на колени.

«Все у меня встало дыбом, – подумала сейчас Куня. – Надо чаю попить».

Но пришла соседка с покрашенными мимо рта губами, сроду так красит, что смотреть стыдно.

– Ко мне сейчас придут, – сказала томно. – Супруги... Художники... Я их так понимаю. Не из каждого ведь окна...

«Надо куда-то уйти», – решила Куня. Художники и к ней могут ворваться. Был уже случай... Пришли пялиться на колоколенку. «А вы не меняетесь?» – «Да вы что?» – ответила Куня. И сама потом удивилась этому своему «вы что», этой враз взорвавшейся мысли, что она может отсюда уехать.

Но куда ей сегодня деться? На детский сеанс в кино или к Нине, если у той нет уроков? Если пойдет к Нине, скажет: «Знаешь, я тогда была не права... Надо мне было пойти...»

Нина обрадовалась, что приедет тетка. Отношения у них холодноватые, наверное, и не будут другими, и все-таки тетка. Родная душа, хоть и человек другой породы. Даже удивительно, что давным-давно были подружками. Но тогда обе они еще не знали, что они разной породы, разного

замеса. Вот это точнее – замеса. Порода-то у них вроде бы одна.

Куня – сводная сестра Нининой бабушки. Значит, по правилам, она ей тоже бабушка. Но зовет ее Нина теткой.

Путаная у них родня. Все из-за прадедушки, который намудрил на старости лет. Уже будучи пожилым вдовцом, он женился на молодой женщине, которая всего на несколько лет была старше его собственной дочери. От молодой жены родились две дочери – Раиса и Куня. Младшая, Куня, дружила с Нининой бабушкой. Старшая, Раиса, с ней же враждовала. Но дружба была далеко – Куня училась в Москве, вражда жила рядом. Раиса родила двойняшек – Стасика и Славика. Они были чуть старше Нины, но отстаивали в отношениях с ней положение дядьев и старших, хоть и пасли вместе коз.

Братья были очень разные. Стасик – черен, как галчонок, худ и ловок в делах и словах. Славик – светел, нежен и имел большие, похожие на листья уши. Когда он говорил, а говорил он всегда мучительно, стесняясь то ли слов, то ли голоса, уши его делались розовыми, теплыми, и в них отчетливо проступали веточки сосудов. «Какой лопаухий», – говорила Нинина бабушка, вкладывая в эти слова слишком много сердца. Дело в то, что по ее логике от той женщины не могло пойти нормальное



потомство. Оно могло быть только лопоухим, как Славик, или бандитским, как Стасик. Или стервозным, как сама тетя Рая.

Куня – последний всплеск прадедушкиной энергии – была красавицей по тем временам. Это нужно оговорить – по тем временам. Потому что ничто так не менялось за одну человеческую жизнь, как понятие «красивый – некрасивый». У Куни был тогда перманент, зачесанный набок, три заколки строго параллельно держали выложенные волной волосы. Куня была румяна, упитанна, безброва, что было хорошо, потому что бровям полагалось место повыше, что и создавалось при помощи хорошо послунявленного черного карандаша. Маленькая выпуклая родинка на щеке тоже окрашивалась этим же карандашом. И такая вот русоголовая молодая женщина, помеченная жирно и четко, соответствовала представлению о прекрасном. Не надо забывать и о губах сердечком, которые Куня вырисовывала на больших полных губах, стыдясь несовершенства своей природы. Она совсем недавно вышла замуж за летчика Петю, и у них была крохотная комнатка на Смоленской набережной. У Куни еще длинные красивые ноги, что хорошо для легкой атлетики. И вообще, она не Куня, а Ксения.

Летчик Петя погиб в июне сорок первого. В сорок седьмом Куня вышла замуж за вдовца, а в

сорок восьмом нашлась семья ее второго мужа – жена, дети, мать, – и он, хороший человек, вернулся к ним. Куня продала свое новое драповое пальто с чернобуркой, накупила для его семьи всего: крупы, консервов, масла, одежек для детей. Такая его провожала веселая, будто он к ней ехал, а не от нее уезжал.

Сразу после этого она приехала к родным. Показывала фотографии «его семьи» и рассказывала, как продавала пальто, как договорилась об одной цене, а из рукава вдруг вылетела моль и из-за этой моли цену пришлось снизить. Нинина бабушка качала головой, а потом купила Куне плюшевую жакетку, а Рая отдала ей толстую суконную юбку, сшитую из офицерской шинели. Куня уезжала от них хорошо по тем временам одетой и отдохнувшей.

– Кончишь школу, приедешь ко мне, – сказала Куня Нине. – Будем жить вместе.

– Замуж выходи, – говорила Нинина мама. – Тридцать лет – самая жизнь... Все еще впереди...

Обе они казались Нине пожилыми женщинами, у которых впереди ничего уже быть не могло. Это у нее все впереди.

Куня могла выйти замуж, когда Нина еще училась в университете. Куня сшила себе платье из модного тогда вишневого панбархата на шифоне. Шила она его суетливо, без радости. И Нине

почему-то было за нее стыдно. Она тогда считала, что выходить замуж в Кунином старом возрасте неестественно. Она уже привыкла к Куне, которая давно отказалась от перманента и делала из волос валик. И губы красила чуть-чуть, и брови «носила» свои. Редкие такие, рыжие брови. А тут вишневый панбархат. Из какой-то другой жизни. И пергидроль, превративший Куню сразу в чужую женщину. Точила старый «бровный» карандаш, а он ломался, точила, а он ломался... И Нине это почему-то было приятно. Грифель – не дурак, понимал, для какого зряшного дела найден.

«Замуж» не получилось. Однажды Куне пришло письмо. Каждая фраза в нем была чеканно-победитовая. Почерк красивый, с нижними росчерками. Куня прочла и тупо протянула его Нине.

– Объясни ему, что это неправда! – закричала Нина. – Объясни!

Объяснять было что. Нина знала историю прадеда. Шалопутный прадедушка действительно бузил тогда, в двадцать девятом. Он только-только купил очень молочную корову, хорошего конька, денежные у него пошли годы. Приобрел для фасона старенькую пролетку, ручкался с теми, кто побогаче. А тут такие перемены. «Нет за голью ума» – так всем говорил. Языком и нажил себе неприятности. Осталась за ним в народе кличка